

ТИМУР
ВАЛИТОВ



УГЛО
ВАЯ

18+

КОМ
НА
ТА

РОМАН




РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА
ШУБИНОЙ

Тимур Валитов

Угловая комната

Серия «Роман поколения»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66669132

Угловая комната : роман / Тимур Валитов: АСТ; Москва; 2022

ISBN 978-5-17-144856-1

Аннотация

Тимур Валитов (р. 1991) – прозаик, дважды финалист премии «Лицей» за сборники «Вымыслы» и «Последний раунд», лауреат премии журнала «Знамя». Рассказы также входили в шортлисты литературной премии Дмитрия Горчева и Волошинского конкурса. Произведения переведены на немецкий и болгарский языки. «Угловая комната» – дебютный роман.

Лето 2018 года. В России гремит чемпионат мира по футболу, но молодому герою не до спортивных состязаний – личная трагедия вырывает его из московской размеренной жизни и возвращает в родной город. Неожиданно он оказывается втянут в странные и опасные события...

Книга содержит нецензурную брань.

Тимур Валитов

Угловая комната

Je ne suis rien. Rien qu'une silhouette claire, ce soir-là, à la terrasse d'un café.

Patrick Modiano

*Я – никто. Просто светлый силуэт,
в тот вечер, на террасе кафе.*

Патрик Модуано

Издательство благодарит литературное агентство «*Banké, Goumen & Smirnova*» за содействие в приобретении прав

Фото автора на переплете *Алексей Шевченко*

© Валитов Тимур, 2021

© Агапова Н., художественное оформление, 2021

© Шевченко А., фото

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Отца не стало в седьмом часу.

– Я в магазине, – сказала бабушка, – целую тележку набрала: пленки, подгузники. Теперь ничего не нужно.

Через сколько-то – я вернулся на веранду и сел – позвонила мама. Я снова вышел в переулок, мама плакала. Я спросил:

– Тебе бабушка позвонила?

– Нет, я сама позвонила. Сёма уехал только что. Я нашла телефон пятнадцатой и...

– И тебе сказали?..

– Ничего мне не сказали. Спросили, кто я. Отвечаю: бывшая жена. А они: мы уже звонили Людмиле Ивановне – и прощаются.

– А ты?

– Я все сразу поняла и спрашиваю: он умер? Девушка замолчала, потом говорит: подождите. Потом дала завождеделение...

– Понятно. Бабушка только что звонила: она в магазине – покупала по списку.

Мама снова заплакала:

– Как жалко его, он какую-то глупую жизнь прожил, будто не свою.

Я молчал, смотрел, как в другом конце переулка рабочие в бесформенных куртках, серых с рыжим, врезают в асфальт перфораторы.

– Ладно, – вздохнула мама. – Позвоню Людмиле Ивановне.

Я еще следил за рабочими, за кусками асфальта, за щебенкой, брызжащей в стороны. Наконец повернулся к веранде, поднялся на ступеньку – передумал. Дошел по переулку до угла, огляделся: те же куртки, серые с рыжим, те же пыль и шум. Подумал, не уйти ли совсем: ничего не объяснять,

не прощаться? Объясню потом, скажу, что нужно было, что хотелось одному, – нет, херня: на веранде вещи и не хочется одному – вообще ничего не хочется. Вернулся, поднялся на ступеньку – снова телефон: бабушка.

– Похороны в понедельник, – начала она.

Я подумал, что вот похороны и так далее, – а мне все равно: я только за нее боюсь – хотя отец болел долго, все равно боюсь, чтобы выдержала, не сдала. Я представил, как она стоит с тележкой, в тележке пеленки – и звонок: здравствуйте, завотделения, умер. Тут же зачем-то заплакал, затвердил:

– Я приеду, завтра приеду. Сейчас – билеты, завтра – приеду.

Бабушка тоже заплакала. Я спросил:

– У тебя деньги есть?

– Что-то осталось.

– Может, перевести?..

Рабочих сменил экскаватор: асфальт, расхераченный в куски, переходил – ковш за ковшом – в самосвал.

– Не надо. На карте половины цифр не видно: еще перепутаю чего-нибудь.

Я почувствовал на плече ладонь, посмотрел на пальцы: крупные, плотные, на безымянном – кольцо. Я повернулся: Фарик.

– И карта не помню где, – сказала бабушка.

Я показал в глубину веранды – Фарик понял и ушел. Я еще пообещал чего-то – бабушка ответила, потом положила

трубку. Я постоял с минуту между верандой и переулком, держа телефон у уха. Самосвал трескуче ехал по остаткам асфальта. Понемногу темнело.

Я вернулся, сел, заметил перед собой дощечку с шестью шотами. Перед Борей стояла такая же – уже без одного. Вася пил пиво, Ксюша – вино. Фарик листал меню.

Мне не хотелось шотов. И пить не хотелось. Мне вообще ничего не – хер с ним.

Фарик взял пиво – я тоже: на запивь. Боря свои шоты будто закусывал: выпьет, выпучит глаза и сидит, жует пустоту. После второго я спросил:

– Боря, а что мы пьем?

– Мужской набор, – сказал Боря.

– Больше мне мужского не бери: это же пиздецкий спирт – пить нельзя.

– Чего тогда брать?

– Бери мне женского.

Боря кивал, улыбался – вот взять и сказать ему: Боря, отец-то умер. Тут же представил, как Боря морщится, ищет слова, опять жует воздух – и так его жалко стало, словно его отец умер, а не мой. Рядом Ксюша говорила про новый комикс, про какие-то канавки и пузыри. Вася слушал. Фарик смотрел на меня поверх стакана, щурился. Показал ему фак: дескать, отвернись – он отвернулся.

– А я им сказала: два полосных подряд – это убожество.

– Зачем вообще с ними разговаривать? На хер шли – и всё.

Я встал, пошел искать туалет – просто так: ссать не хотелось. Долго держал руки под краном, рассматривал в зеркале лицо – небритое, бледное. Сосчитал в уме шоты (четыре из шести) и пиво (два стакана), вспомнил, что не ел с обеда. Вышел, остановил официантку, заказал борщ. Над столом и посудой одиноко темнело Фариково лицо: остальные курили. Прежде чем сесть, опрокинул в себя шот, почувствовал, как спирт течет по пищеводу.

– Ты прочитал? – спросил Фарик.

Я ответил:

– Нет, – хотя не понял, о чем он, чего он хочет.

Фарик молчал. Принесли борщ. Я съел две ложки, поговорил о чем-то с Васей, решил позвонить бабушке: телефона не было – ни в кармане, ни на столе.

– Посмотри в рюкзаке, – сказала Ксюша. – Короче, сделала я второй полосной, а эти пидоры не собираются доплачивать.

Я достал из рюкзака блокнот, бумажник, паспорт, влажные салфетки. Потом рука нащупала маленькое, твердое – пирамидка. Я с минуту вертел ее в руках – вместо вершины белеет скол, на боку курсивом *Djerba* – и не мог поверить, что вчера...

Зазвонил телефон – недалеко: Вася показал на официантский буфет. Официантка открыла выдвижной ящичек, объяснила: нашли в туалете, принесли ей. Вернула с пропущенным от Полины. В переулке почти стихло: ни самосвалов, ни перфораторов – только голоса расплывчато с веранды.

– Терпимо, – ответила бабушка. – Агент приехала: сидим, считаем.

Я соврал:

– Взял билеты – после обеда буду.

Потом подумал как-то обозначить, хотя бы сделать вид, что больно, что не все равно. Выдавил:

– Держись.

И через паузу:

– Пожалуйста.

– Держусь, – сказала бабушка, – нужно проводить достойно. Перезвони мне, ладно? А то неудобно.

Заметил Фарика – прямо за спиной, с сигаретой, хотя обычно не курит:

– Всё хорошо?

Я пожал плечами.

Боря заказал мне женский набор: четыре вместо шести, пахнет жвачкой. Себе взял опять мужской, уже выпил два шота – сравнял счет. Блокнот, бумажник и так далее – все валялось по скамейке; рюкзак – на полу.

– И теперь все панели поползли – ну нахуй я с ними связалась? – спросила Ксюша.

Я отправил в рюкзак пирамидку – скол чуть оцарапал палец – и ответил:

– Отец умер.

Все посмотрели в стаканы, постучали пальцами по стеклу, повздыхали. Наконец выпили – Боря даже сказал:

– Не знаю, чего сказать.

Я подумал, что вот их четверо: Боря, Вася, Ксюша, Фарик. Вот девятое июня, вечер – вечер можно описать: стемнело, какие-никакие звезды, дощатый пол, переулок, холодный борщ. Можно описать умнее, точнее: заметить слезы вдоль Ксюшиной переносицы, еще раз вспомнить, что Фарик щурится, что Борин рот живет отдельной от Бори жизнью. Но все равно: все будет ложью. Как ни описывай вечер, как ни старайся восстановить каждое слово – ни одно из них не выдашь за правду, никто не поверит в слова. Что, например, сказать о Ксюше – кроме пузырей и слез? Что у нее есть муж (на двенадцать лет старше ее), что она спит с Васей, что до этого спала со мной: дважды у нее, один раз в пивной на Красных Воротах, в туалете на подоконнике – она даже колготки не сняла, – что у нее нет подруг, что еще осенью она обсуждала с Борей, не пидор ли я, что недавно обсуждала со мной, не пидор ли Боря, что у нее вкусно пахнут волосы и иногда не очень – изо рта, что я ни разу не видел ее в брюках, что давно не видел ее без брюк, что у меня встал, несмотря на мужской и полженского набора и еще два пива, третье в процессе, – но это не про Ксюшу. Про Ксюшу – все время какие-то поползшие панели, какие-то имейл-трагедии, вечное «нахуй я с ними связалась». А еще истории из студии: она вроде бы спит с главредом, но хочет это прекратить – она все может сама, она действительно может, она умная и не шлюха – не знаю, зачем она со всеми спит: кажется, от

скуки. Такая вот Ксюша – можно ли в нее поверить? Я и сам не верю – сам не помню, что правда, а что —

Боря говорил про какую-то тетку: долго умирала, дорого хоронить. Я перебил:

– Давайте по домам.

– Рано, – отрезал Боря.

Выпили, у Бори созрели соболезнования – это было не нужно, пустая трата Бориных сил. Я не слушал – точно оглох: смотрел, как Боря беззвучно старается, лепит *подходящие* слова друг к другу. Боря бывает хорошим товарищем: позволил сегодня в четвертом часу, сказал, что не хочет на пары, хочет в кино – на Серебренникова.

– Боря, я не пойду в кино. И на пары не пойду.

– А что так?

– У меня отец в больнице, – и так далее. Отец был, конечно, ни при чем: просто не хотелось ни на пары, ни в кино – я вообще кино не люблю. За минуту до Бори звонила бабушка, рассказала все комканно, второпях. Все это – участковый врач, две скорых, инсульт – ворочалось в голове, просилось наружу: Боря был кстати.

– Короче, тут не до кино, – закончил я.

– Не до кино, – согласился Боря. – Тут лучше выпить.

Мы встретились в полшестого, минут пять прождали Васю, еще пятнадцать – Ксюшу. Фарик просил написать, где мы сядем: он не хотел (может, просто не умел) пропускать пары.

Про отца не знал никто – кроме Бори. Я и на Борин счет

пожалел: было тепло, по Мясницкой радостно шли люди, Ксюша не успела проверить почту – в общем, никакого повода быть в грустях. Хотелось смеяться, когда смешно, – например, когда Вася рассказывал, как какая-то писательница пукнула на презентации нового романа, – и я смеялся, пока не вспоминал, что рядом Боря: идет, переживает за моего отца.

– Ладно-ладно, – закруглил я Борино выступление, – давайте выпьем.

Боря будто устал, пока формулировал: покраснелся, размяк. Кончилось пиво, стакан стоял пустой – я заел пампушкой, решил, что все-таки домой. Ксюша тоже заторопилась, замахала официантке. Фарик долго складывал, считал. Вася, не считая, спросил взаймы.

Наконец мы вышли в переулок, посадили Ксюшу в такси, двинулись к метро. Вася опять говорил веселое: он был почти трезв – он обычно мало пил. Боря долго молчал, сосредоточенно следил за тем, как шагают его ноги. Потом немного ободрился и придумал почти у самого метро:

– А чего по домам? Пойдемте ко мне – у меня коньяк есть. (Боря жил недалеко – в Милютинском.)

Мы дошли до угла, повернули – начался мелкий дождь. Вася снял с себя куртку, растянул ее над головой – хоть и капало еле-еле. Справа, увязнув друг в друге, темнели объемы калягинского театра: почти не освещенные, еще захваченные где-то в леса. Я шел и смотрел, как одно врастает в

другое, как на плитку лезет бетон, – и вдруг меня вырвало: двумя ложками борща и двумя наборами. Я едва успел схватиться за карниз, чтобы удержаться, не сесть в свою же блевотину, – и все тут же прошло: на втором или третьем вдохе. Фарик держал меня за плечи, Боря зачем-то пытался отцепить от карниза.

– Всё хорошо, – сказал я. – Теперь уже точно домой.

Но все было нехорошо. Шаг, другой – и все нарушилось, перемешалось: фонари, далекая буква «М», театр, еще фонари. Я держался, боялся, что кто-нибудь – Фарик или Боря – смотрит, как я иду, как справляюсь с пятьюдесятью метрами до метро. Фонари, промежуток в брусчатке, дождь. Почувствовал спиной скамейку. Сверху – разноцветные лучи автобусных маршрутов, сбоку – плакат: что-то там второго июня. Попытался схватить, сорвать – ладонь проехала по стеклу: сука.

– Вставай, – сказал где-то далеко Фарик, – поехали.

Уже в такси подумал, что оставил телефон – опять в сортире или где еще. Потом вдруг запросто достал его из кармана, удивился. Два процента, шесть пропущенных: от кого – не запомнил. Вроде от бабушки и мамы, наверняка – от Полины.

– Завтра позвонишь, – сказал Фарик. И опять на плече ладонь, опять кольцо – золотое, с маленьким камушком.

Я спросил, куда мы едем. Фарик ответил: к нему.

Лифт не работал – шесть этажей пешком. Сдался на чет-

вертом. Отдышавшись, заорал Фарику, что иду домой, что пошел он на хуй, – и зачем-то полез вверх по лестнице. Через два снова сдался: Фарик успел открыть дверь, втолкнул меня в тамбур. Я кое-как согнулся, потянул за шнурок, за другой, вышел из кроссовок. Две двери, его – направо. Книги на полу, окно без занавесок; в окне горит телебашня. Отсвет – с синего на желтый – перекрашивает картинку на стенах. Пригляделся: Сакре-Кёр, на переднем плане – стол с плетеными стульями. На другой: прямоугольник башни Монпарнас на фоне облаков. Нашел под столом табуретку, попросил у Фарика воды.

Фарик вернулся со стаканом, стоял надо мной, пока я пил. Потом сказал:

– Всё, спать, – и стал снимать с меня джемпер, футболку. Опять ладонь на плече: его кожа, загорелая, грубая, поверхность моей – почти прозрачной. И отсвет – с желтого на синий. Я повернулся, отвел плечо, спросил еле внятно:

– Фарик? – и подумал, какой он большой, если смотришь снизу вверх, а ладонь уже у лица – на шее, затем на щеке. От пальцев несет табачищем, пальцы шершавые на ощупь – блядь.

Я встал – неосторожно, опять смешав всё в голове. Не стал наклоняться за футболкой – только взял со стола джемпер. Фарик шагнул назад, зачем-то развел руки. Я крикнул ему, что он ебанный пидор. Он зашипел: тише, тише, сосед спит, и вообще, все слышно. Снова коснулся моего плеча – по-

другому, не так, как до этого, – я все равно еще раз крикнул: ебанный пидор. И, кажется, еще раз.

– Я не буду – только тише, – повторил Фарик. Я подумал, что устал, что до смерти хочется спать, и как будто поверил. Он опять принес воды, торопливо разложил диван, застелил его чем-то, разделся и лег лицом к спинке. Я натянул джемпер, пошел в кухню, налил еще воды. Громко уронил стакан в раковину. Вернулся и лег – не раздеваясь. Проснулся оттого, что Фарик снимает с меня джинсы, посмотрел с секунду в его голову между моих ног, свесился с дивана и блеванул. Дальше не помню.

Отца не стало в субботу.

Было тепло, по Мясницкой радостно шли люди – это да, но суббота была рабочей. Двенадцатого обещали праздник, а в субботу – потрудись. Потом, с воскресенья по вторник, аж три дня пей наборами, спи, поезжай схорони кого-нибудь, но в субботу – потрудись. И на пары, само собой, иди.

Я все же взял выходной – не в субботу, в пятницу, – чтобы встретить бабушку. Она прилетела из Джербы, в три часа ночи приехала на Курский, сдала чемодан в камеру хранения. Мне наврала – сказала, что будет в Москве в восемь: хотела, чтобы я выспался. Дремала четыре часа в зале ожидания, не слышала телефон. Я прочесал весь Курский, пока не нашел ее – в самом углу. Прежде чем разбудить, минуту сам с собой злился.

(Я не выпался: Полина всю ночь мерила давление, почти умирала – такая дура.)

Вышли из вокзала. Заметил, что бабушка загорела. Позже – что постарела: мы давно не гуляли – вот так, без особой цели, не зная, чем заняться. Обычно приеду к ней на пироги, на солянку – отец любил солянку. Или она к маме в гости. А чтобы гулять – не помню, когда в последний раз. И вот она идет неуверенно, одышка. Она, конечно, летела, почти не спала, устала. И все-таки семьдесят в следующем году – никуда не денешься.

Мы дошли по Садовому до кафе, где на завтрак пашот со спаржей: дорого – но ведь бабушка. Я спросил, не звонил ли Миша.

– Я сама вчера звонила, пока ехали в аэропорт.

– Как отец?

Бабушка пожала плечами:

– Так же.

Я рассказал про экзамены, про конференцию в июле. Начал про зубы, но решил не расстраивать. Бабушка показывала фотографии: крепость, крокодилы, витрина с крабами. Потом вспомнила, что звонила мама – в начале недели.

– Скорее всего, насчет свадьбы, – сказал я.

– Когда планируют?

– В августе. Семён весь июль будет в Латвии.

Собрался с мыслями, добавил:

– Только ресторан небольшой, места мало. Она хотела те-

бя одну: без отца, без Миши.

– Ладно, – согласилась бабушка, – буду одна.

В два обещали дождь: решили, пока солнце, доехать до центра.

– Что за ресторан? – спросила бабушка.

– На набережной – названия не помню. Пока будут накрывать горячее, всех посадят на катер, повезут по реке.

– Стадион с воды красивый, наверное. Как там, интересно, мундиаль?

– Студентов заставили экзамены сдавать в мае. Теперь общежития расселяют.

– Конечно. Куда их иначе девать, мундиалевцев? В общежитие на Лядова – самое то. Его крайний раз при Советах ремонтировали – это же сколько лет прошло.

И через минуту:

– Слово-то какое дебильное – «мундиаль».

Мы посмотрели на Красную площадь, на Никольскую в лампочках. Сели пить кофе, съели совершенно приторное безе. Бабушка рассказывала про какую-то рыбу, про то, как торговалась на рынке, как пыталась сойти за француженку. Говорила мне:

– *Bonjour!* – с почти арабским выговором.

– Еще бы загорела немного – за свою бы сошла, – смеялся я.

Бабушка попросила официантку сфотографировать. Объяснила:

– В садике покажу.

– А когда в садик?

– После праздников – завтра еще отпуск, слава богу. Я им книжку твою носила – сказали, очень уж грустная.

– Грустная.

– И мата много.

– Много.

– Можно ведь без мата.

– Можно и без мата.

Бабушка посмотрела на меня, подумала:

– А мне не мешало, – сказала наконец, – пусть даже с матом. А в садик зря носила, наверное.

Мы спустились в метро, доехали до Сити, вышли: дождь. Бабушка выглядывала из павильона, потом фотографировала через стекло, потом заключила:

– Вот ведь зараза – дождь.

Дошли подземным переходом до торгового центра. Поднялись в мебельный, бабушка полюбовалась диванами. Приглядела один с шестью цифрами на ценнике – для дачи.

– Дачу-то где взять? – спросил я.

– Что же мне – вечно в садике сидеть? Будет семьдесят – уволюсь, продам квартиру. Отправимся с отцом на дачу.

Зашли в кофейный, я купил домой капсулы. Прodeгустировали кофе – по две чашки.

– Мне больше не наливать, – сказала бабушка. – А то до дачи не доживу.

Купили ей что-то в поезд, поели. Поехали обратно на Курский, забрали из камеры чемодан. Бабушка начала рыться в вещах, достала мне пирамидку:

– Я думала, внутрь свечка вставляется. Уже в отеле поняла, что она не открывается.

– Ничего, без свечки постоит. Спасибо.

– Еще нуга есть – три килограмма. Отломить тебе?..

– Не надо, я сладкое не очень.

Бабушка подумала и не стала спорить:

– Даже если надо – не отломлю: она как каменная.

Нашли поезд. Закинул чемодан на полку, засомневался:

– А сама сможешь снять?

– Меня Миша встретит.

Стали прощаться, бабушка спросила, когда приеду.

– Только на свадьбу, – и опять про экзамены, про конференцию.

– Ну, звони тогда, – сказала бабушка, но позвонила сама – ровно через сутки: участковый врач, две скорых, инсульт. На заднем плане Миша громко объяснялся с завотделения, то и дело что-то гремело.

Потом Боря с Серебренниковым. Потом Боря с Ксюшей и Васей. Потом те же и Фарик. Потом только Фарик. В перерывах – мама, бабушка, пропущенные от Полины.

Потом снится дача – так и не купленная, никогда не существовавшая, составленная из случайных деталей: самовар, тарелка слив, фиалки на подоконниках. Отец проглатыва-

ет водку, поднимается, говорит: пора. Выхожу во двор, отец следом: выносит чемодан, бросает в багажник. Появляется бабушка: она не едет, на ногах тапки – с крыльца не сойти. Мы прощаемся, отец бьет по гудку, торопит – и уже курит на перроне: как-то особенно, с тоской. Возьмет ртом воздух – так и ждешь, что вот-вот скажет, – а он помнет губами и снова за сигарету.

Объявляют. Отец кладет мне ладонь на плечо, едва пинает чемодан: не забудь. Уходит. Вдалеке выворачивает поезд, объявляют снова. Зачем-то спускаюсь с платформы: отец сидит в машине, смотрит в свои же руки на руле. Говорю, чтобы ехал: заволнуется бабушка. Он делает знак рукой – мизинец в сторону – и всё.

Я проснулся на диване: по стенам – Париж, в окне – телебашня. Вспомнил в обратном порядке про ебаного пидора, про заблеваный переулок, про наборы – женский и мужской – и, наконец, про отца.

Встал, попытался найти одежду. Вошел Фарик – в одних трусах. Поглядел на меня с полминуты.

– Ну, – сказал я, – говори чего-нибудь.

Фарик пожал плечами и ушел.

Футболки не было, телефон сел. Я вышел в кухню: Фарик ел. Увидел меня, остановился. Опять полминуты молчания.

– Хочешь – молчи, – сказал я. – Только дай мне зарядник и футболку.

– Футболка в стирке, – ответил Фарик. – Зарядник во-

ткнут за диваном.

Чтобы добраться до зарядника, диван пришлось сложить. Подумал, что уже почти за хозяина: залез в шкаф, нашел футболку – кислотно-салатовую. Надел, поглядел в зеркало: плечевой шов – почти до локтя. Обернулся: Фарик стоит в дверях, смотрит. Показал ему фак – дескать, уйди, – он ушел.

Телефон ожил – три сообщения: абонент звонил восемь раз, абонент оставил голосовое сообщение, абонент звонил еще дважды. Перезваниваю.

– Ты охуел? Ты живой вообще?!

– Полина, – начал я.

– Иди на хуй, – и гудки.

Перезвонила сама:

– Ты где, блядь?!

– Полина, отец умер.

Тишина. Затем неуверенно:

– Ты где сейчас?

– Вчера уехал.

– Ты дома?

– У бабушки.

– Почему не?..

– Телефон сел – только зарядник нашел.

Опять тишина. Потом вздох – и:

– Я ночь не спала. Ладно, неважно. Как бабушка?

– Нормально. Прости, я хотел позвонить, но там...

– Ладно, не надо. Ты меня любишь?

В дверях опять возник Фарик. Я испугался, что он все испортит, ответил:

– Да, – и быстро положил трубку.

Но Фарик молчал. Я хотел спросить, зачем он вчера, что это вообще такое, как теперь после этого, – но перехотел. Спросил только:

– Фарик, как там твоя жена в Бишкеке?

– Есть будешь? – ответил Фарик.

Пока он что-то грел, я нашел в рюкзаке паспорт, сел смотреть билеты. «Ласточка» в полпятого раскуплена – кроме мест для инвалидов. «Стрижи» стоят минимум пятерку. Шесть с половиной часов на верхней полке за две двести: оплачивая, подумал, что на две двести в студенческие времена можно было пить неделю.

Фарик поставил передо мной тарелку – и вдруг еле слышно:

– Никому не говори.

Я подумал: как ему, наверное, запахло.

– Ты просто напился, Фарик. О чем тут говорить?

Фарик зачем-то решил спорить:

– Я не напился.

– А что тогда?

Фарик поглядел на меня – и передумал:

– Ешь.

Я не доел. Фарик завернул все в пленку, стал искать место в холодильнике. Я заметил в дверце пиво – между маслом и

пакетом молока:

– Угости.

– Похмелиться?

– Вот еще: я все, что выпил, слевал.

– А что тогда?

– А то, что тяжело теперь с тобой на трезвую.

Фарик открыл пиво, ушел в душ. До поезда – два часа. Я посидел еще в кухне, потом ушел в комнату. Сообщение от Полины: держись, люблю и так далее. Пропущенный от мамы.

– Ты когда приедешь?

– Только вечером. Бабушке звонила?

– Звонила. Хотела помочь, но там дура эта объявилась.

– Нина?

– Нина. И Вера тоже там. В общем, не до меня.

И опять:

– Я все думаю: ну какая несуразная жизнь.

Хотел позвонить бабушке – не стал. Написал ей, что буду в полдевятого. Фарик все еще мылся. Делать было нечего. Стал опять разглядывать комнату. Книги: Кортасар, Кундера, Камю, опять Кортасар. Отыскал что-то не на «К»: Газданов – та же песня. Рядом тоненькая книжица: Модiano. Обрадовался, что хоть этот не связан с Парижем, посмотрел на заднюю обложку: француз, *Prix Goncourt*. Бросил обратно.

Тут же на полу коробка – крышка съехала, видно, что внутри: графинчик для масла без пробки, зажигалка, крас-

ный шелковый платок. Чуть в стороне – страница меню на французском, на полях карандашом: «Отбивные Шароле по рецепту лесничего».

Картинки на стенах оказались открытками – каждая с надписью на обороте. Аккуратно снял с булавки одну – самую скучную, с Нотр-Дамом и сакурой: *Ma chérie Marcienne*, – и еще абзац на французском. Под абзацем сахарное: *Je t'aime à la folie*, – и подпись: *Babou*. Фарик за стенкой выключил воду – я быстро вернул открытку на место, снова взял Модiano, сел на табурет. Открыл, схватился за первую строчку: «Я – никто. Просто светлый силуэт, в этот вечер, на террасе кафе».

Фарик вошел – опять в одних трусах. После *Babou* – а может, после пива – я решил возразить:

– Оденся.

Фарик стал искать что-то в шкафу. Я подумал, что неплохо бы и мне в душ, попросил трусы и носки. Коротких носков у Фарика не было. Хотел постирать свои – нет, нахер: пусть себе торчат из кроссовок – не в Париж еду.

Помылся, нашел у Фарика дезодорант. Выдавил на палец пасту, размазал ее по зубам, набрал в рот воды. Выплюнул. Оделся: джемпер поверх Фариковой футболки дыбился складками. Пока обувался, спросил, как идти до метро. Фарик показывал что-то в кухонном окне:

– Выйдешь из двора – и направо. Увидишь впереди зеленый павильон.

И через секунду:

– Какая-то хуйня.

Я не понял.

– Ты вообще помнишь, что вчера было? – спросил Фарик.

Я кивнул:

– Помню. Ты – ебанный пидор.

– И что теперь?

И вправду, что? – не знаю. В голове почти дистиллированная пустота: немного давит на затылок – и всё. Иногда поднимается со дна какая-нибудь мысль: скажем, вот приеду я к бабушке – а дальше? что говорить, что нужно делать? Или Нина – как вообще оставаться с ней в одной квартире? Остальное – смерть отца, чьи-то там руки на плечах, или, например, отсутствие зарядника, или зубной щетки, или куртки (если вдруг лето передумает) – всё это были вещи одного порядка, некой категории «Б».

Но Фарику этого не объяснишь.

– То же, что и раньше, – сказал я. – Ну захотелось тебе попробовать – с кем не бывает. Попробуй еще раз – с другим.

– А если я тебя люблю? – спросил Фарик.

Блядь, ну как же нехстати.

– Фарик, – начал я, – ради бога, не сейчас. Дай похоронить отца – потом поговорим.

Фарик хотел сказать, уже набрал воздуха – остановился. Я подумал, что самое время. Открыл дверь и вышел в тамбур.

– Прочитай, ладно? – сказал Фарик.

– Прочитаю, – ответил я, гадая, что такое должен прочитать.

Фарик посмотрел недоверчиво:

– Погоди.

Ушел, через минуту вернулся с файлом, в файле – десятка два листов:

– Вот. Может, так удобнее.

Я убрал листы в рюкзак:

– Удобнее.

Мы попрощались – опять как-то неправильно: Фарик протянул руку, но вдруг шагнул в тамбур и обнял. Сказал мне в ухо что-то вроде: держись. Я хотел ответить: сам держись, – но не стал.

На улице было тепло. Прошел квартал – снял джемпер. Объяснений Фарика про метро я не понял или не запомнил: шел по гугл-карте. Заметил через дорогу магазин, купил бутылку пива и жвачку. Отправил одну пластинку в рот, почувствовал странный запах от пальцев – как будто крем для рук. Дойдя до метро, додумался: смазка. Стал звонить Фарика, через два гудка положил трубку – зачем спрашивать? Хер с ним – потом, после всего.

В метро все-таки думал о Фарике – о пальцах на щеке, посланиях на открытках, о Кундере и Кортасаре, о невнятном сюжетце в кортасаровских «Выигрышах»: какого-то неприятного, заносчивого мальчишку насилует кочегар. Я зачем-то представил Фарика таким вот кочегаром: опоил, су-

ка, и руки распустил. Хотя нет: если кто и опоил, так это Боря, а не Фарик. Да и нужно ли меня опаивать – сам справляюсь. И вообще, какой из Фарика кочегар? Он и киргиз-то неправильный – все эти рецепты лесничего, книжицы Модино, листики в файлах. Я вспомнил, как осенью, на первой нашей пьянке впятером, он показывал фотки с женой: это в Бишкеке, это Каракол, это ездили в Бухару. Откуда Париж, откуда *ma che Érie Marcienne*? Он, кажется, и в Москве ни разу не был, пока не поступил: даже экзамены сдавал по скайпу. Я подумал про это *кажется*, попавшее между мыслей: целый год вместе пили, ходили на пары, слушали лекции в Тургеневке, читали друг друга (у Фарика всегда про неназванные города, про время безо всяких примет – про нигде и никогда), а теперь и не скажешь ничего определенного. Кто ты, Фарик? Кажется, никто. Силуэт. Какой-то кочегар. Недокиргиз.

Уже в поезде вспомнил, что он и не киргиз вовсе: он как-то рассказывал, что родился не в Бишкеке (не помню где – в Ташкенте? в Париже?), что и родители – не киргизы. Я подумал, что лицо у него не киргизское, не азиатское вообще: смуглое, какое-то обветренное, но не азиатское. Вот жена – киргизка, да. А он?

В купе завалились мама с дочкой – две упитанные, обернутые сарафанами туши – и сразу на стол полторашку пепси и пол-осетинского пирога: завоняло рыбой – пиздец. Я забрался на верхнюю полку, открыл пиво, потыкал в телефон

– пока он не сел. Успел написать Полине и маме. Бабушке не писал – она и предыдущих сообщений не читала. Ответил на очередную Борину попытку соболезнований. Хотел глянуть Фариков фейсбук, но подумал, что слишком много Фарика, – не стал.

Потом поспал часа два. Проснулся, когда соседки засобирались выходить во Владимире. Слез на нижнюю полку, вспомнил про Фариковы листочки, достал из рюкзака, затем из файла. Прочитал заголовок: «Угловая комната». Потом эпитафия на французском, без сноски, – пропустим. Потом начало: «Маленький кинотеатр на бульваре Сен-Жермен: сколько мы прошли, Марсьенн? – кажется, весь Париж».

Пришло на ум кортасаровское: «Встречу ли я Магу?» – и так далее. Дочитал страницу: вроде бы красиво – липовый цвет, мотыльки, бездомные чайки, – но красиво до утомительного. Вал названий – улицы, мосты, метро – и всего чересчур: воздух плавится, пыль клубится в луче света. Я прочитал еще страницу и еще: кинотеатр, кафе – и все курят, и поцелуй непременно пахнет сигаретой. Пролистнул страницу-другую, заметил что-то про колени, вчитался: «...я потерялся между простыней и твоими коленями, пропал на твоих губах, в прикосновениях нежных рук к моей груди». Отчего-то почувствовал запах смазки, и словно легла на плечо ладонь. Скрутил листы рулоном, убрал в рюкзак, отвернулся в окно: лес, небольшая речушка, снова лес. Фонари, метро,

театр, фонари. Подумал о Фарике – не хотел, но подумал: колени у него смешные, сморщенные, как будто маленькие для его ног – откуда я это знаю? Я схватил рюкзак – блядские колени! – вытащил рукопись. Опять про губы и простыни – пролистал вперед – Монпарнас и кафе на Монмартре – в соседнем купе хрустят огурцами, собираются пить за выксунский «Металлург» – о Марсьенн, Марсьенн, Марсьенн! – и вдруг мелькает Бабу́ – пиджак, пощечина – нет, ни хера не понять.

Возвращаюсь к началу, стараюсь не упустить ни слова, точно за каждым что-нибудь ищу: «Маленький кинотеатр на бульваре Сен-Жермен: сколько мы прошли, Марсьенн?» – кое-как страницу, впереди еще восемнадцать. Опять улицы и мотыльки, опять пыль в луче света – и необъяснимая зыбкость, в которой порой мерцает что-то определенное: волосы, закуска, несколько фраз. Я хотел написать Фарике, что почти тону, что красиво, но в такой красоте неизбежно теряешься, что рассказчик – ебанный пидор, и Бабу тоже пидор, что Марсьенн – потаскуха, но это не важно, потому что все это лучше, сильно лучше, чем было, – и еще много чего хотел написать, но не написал: телефон сел. Я отложил рукопись на пятой или шестой странице – все-таки утомительно. В окне тот же лес – теперь за забором из тонких металлических прутьев. Я подумал, что бутылка пива на шесть часов езды – это ничто. И следом, что Фарик вчера трахнул меня, – теперь, кажется, помню. Сначала целовал – кажется, в шею,

потом трахнул – или нет? Может быть, не смог – я, кажется, сопротивлялся. Нет, все было так: он что-то делает там – пальцами или не знаю чем, но приятно мало – я говорю, что не надо, чтобы нахуй прекратил. А потом как-то – как? – все повернулось: я – весь в смазке, он – подо мной. Я, кажется, вхожу в него – что с ним? больно? – кажется, больно, кажется, кажется – все только кажется. Я не выдержал, плюнул – плевков, не долетев до леса, не долетев даже до забора, пополз по стеклу, кое-как перетек на резиновую раму. Я поглядел на рукопись – Фарик, Фарик, какая же ты сука! – сунул листы обратно в файл, дошел до сортира – через запахи, через ляжки, вывернутые в проход, через громкое «МЕТАЛ-ЛУРГ! ВЫК-СА!».

Отправил файл в мешок с мусором, вышел в тамбур.

В тамбуре курил мужик. Я спросил сигарету, задымил, как какая-нибудь Марсьенн. Подумал и спросил позвонить. Мужик дал телефон – не сразу, но дал. Тут же взял назад, разблокировал и дал опять. Я с минуту смотрел в клавиши на экране – может, надеялся, что цифры сами сложатся в Фариков номер, но цифры не сложились. Я вернул телефон, мужик докурил, затушил о стену, ушел. Я остался в тамбуре один: в небольшом оконце – по-прежнему лес, сигарета ненужно догорает, того и гляди обожжет пальцы. Я вдруг окончательно понял, *что* это было: Фарик, которого я успел по-своему полюбить – несмотря на все факи, на все его ответы невпопад, на его медлительность, исходящую, видимо, от

истинно азиатского спокойствия, несмотря на всю нескладность, неумелость – в текстах, в прогулах, в попытках пошутить, – вот такой невесть за что полюбленный мною Фарик как-то скверно полюбил меня в ответ. И неважно, трахнул он меня или я его – или никто никого не трахал; снова перед глазами колени, ладонь, голова между ног, высвеченная желтым и через секунду синим, – я схватился за поручень и уже почувствовал, как крутит внутри и просится наружу. Подумал, решил не блевать: сколько можно? – третий раз за сутки.

Вернулся в купе: оставалось полтора часа. Хватит думать о Фарике, хватит вспоминать: вот ведь херня какая – и непонятно, как с этой херней жить. Выксунцы за стенкой шумели чемоданами, рюкзаками, зачем-то заранее потащили багаж по коридору в тамбур. Прошел курить мужик, забор в окне пропал и появился, мужик прошел обратно. Я еще посмотрел на все это и уснул. Снился бульвар, похожий на Звездинку, и темнота, нет, где-то высоко фонари – и свет идет сквозь листья, становится зеленым – все вокруг зеленое, будто лес, – и с зеленого на синий, с синего на желтый. Потом поезд громко остановился: я вышел вслед за выксунцами, достал телефон, чтобы вызвать такси. Вспомнил. Убрал телефон.

Спустился в тоннель, прошел под вокзалом к автобусной остановке. Тоннель чуть похорошел к чемпионату: старые стены спрятались под кремовую плитку. Под ногами – та же

брусчатка елочкой, вся в пятнах жвачки и харчи, но это мелочи: под ноги смотреть необязательно. Сев в пазик, вспомнил про метро: вроде обещали ветку – от вокзала до стадиона. А от стадиона до бабушки – пешком минут пять. Ладно, погуглю позже или спрошу.

После виадука резкий поворот – полпазика завалилось направо. Три остановки, затем вглубь панельного микрорайона: каждый раз сомневаюсь, этот бабушкин – или тот? Домофон, лифт на девятый – бабушка в дверях: такая старая, усталая, все еще загорелая. Такая далекая. Сказала:

– Заходи.

В коридоре, когда разулся и надел тапки, – чтобы не через порог – поцеловала в самый низ щеки. Вздохнула:

– Вот так. Позавчера Сити, спаржа – и на тебе.

И тут же спохватилась:

– Ты, наверное, есть хочешь – мой руки.

Я пошел в туалет, коротко заглянул в комнату, где жил отец: пусто как-то. Уже вытирая руки, вспомнил, что не хватает дивана в углу. Бабушка разогрела на плите котлеты. Поставила передо мной тарелку, крикнула:

– Миша!

Вошел Миша, кивнул мне.

(Мы обходились без рукопожатий – может, потому, что он младше меня лет на шесть: когда в пятнадцать пацаны научили меня здороваться «по-человечески», ему не было и десяти, а потом как-то исторически сложилось. Не знаю,

умел ли Миша вообще *по-человечески*: рос на «Варкрафте», раз в два года переходил в новую школу, после колледжа собирался в ОМОН, часами слушал рэп, запершись в бабушкиной спальне, а теперь купил беспроводные наушники и не вынимает рэп из ушей.)

– Будешь котлеты? – спросила бабушка.

Миша сел за стол.

Я еще раз поглядел на наушники, вспомнил:

– Миша, есть зарядник для айфона?

Миша встал, принес зарядник. Котлеты были так себе.

– Днем купила – даже не помню где, – сказала бабушка.

Она съела одну: не грела, просто положила на хлеб.

Миша поставил тарелку в раковину, ушел. Бабушка включила чайник – и потом устало:

– Рассказывать тебе?

– Рассказывай.

– В общем, я уже в Коврове была, – начала она после паузы, – приходят пропущенные от Миши. Кое-как дозвонилась, он говорит: всё плохо. Приезжаю – отец меня не узнаёт.

Я подумал: как она далеко, еще во вчера, в позавчера, в Москве, как будто все это – кухня, отцовская комната без дивана, чайник – еще не существует.

– У него температура – сорок с лишним. Время – ночь. Я скорую вызвала, сделали укол. Он не встает: все дела – под себя. После укола легче стало – я его намыла, все вокруг намыла. Слава богу, – голос ее треснул, – он меня узнал.

– Узнал, – повторил я как-то глухо.

– Узнал. Посмотрел на меня и сказал: мамулечка! И всё.

– Умер?

– Нет, больше не узнавал – вообще в сознание не приходил. Утром вызвала участкового врача. Врач говорит: вы чего, давайте скорую, в больницу, иначе вы его потеряете. Выписала справку, сказала, что со справкой не могут не взять. Приехала скорая – один санитар. Я ему справку, он говорит: ищите кого-нибудь на носилки. Я по этажам – как назло, никого. Нашла двух алкашей у подъезда – тут Миша пришел из колледжа. Короче, увезли.

Вскипел чайник, бабушка полезла в холодильник:

– А у меня и нет ничего к чаю.

Потом вспомнила, достала из шкафа кусок нуги в пленке – размером с голову. Вынула доску и нож из подставки, попробовала резать. Не резалось.

– Вот ведь дрянь, – сказала бабушка. – Я сейчас по-другому с ней.

Ушла с кухни, вернулась через минуту с топором. Я испугался: с ума, что ли, сошла? Замахнулась – очень уверенно. Опустила топор ровно в центр нуги: кусок раскололся надвое. Объяснила:

– Это они так в Джербе на базаре – знают, что пилить бессмысленно.

Замахнулась еще раз, затем еще раз. Я смотрел, как она крошит эту голову, как орехи и ошметки летят на пол, как

топор врезается в доску – того и гляди врежется в гарнитуру. Через минуту бабушка бросила его в угол за холодильником, поставила на стол пиалу, сказала:

– Вот.

Я взял кружку, налил заварку и кипяток. Нуга не жевалась, но понемногу плавилась, если залить ее во рту чаем.

– Вкусно? – спросила бабушка.

Я ответил:

– Сладко. – (Сладкое я не люблю.) – Куда его увезли? В пятнадцатую?

– Сначала в третью. Там посмотрели, сказали, что-то вроде с головой, а с головой – уже в пятнадцатую. Предупредили, дескать, не подтвердится – отправят обратно.

Я подумал: какой пиздец.

– Но в пятнадцатой подтвердилось. Сделали снимок: кровоизлияние в мозг. Сказали, трепанация.

– Что трепанация? – не понял я.

– Трепанацию надо делать – кровь откачивать. Я вот сейчас думаю, что это всё. После трепанации же – овощ до конца жизни. А тогда не подумала, согласилась. Дали список, поехали с Мишей покупать, а потом...

Потом я знаю.

Бабушка молчала. У меня кончился чай, но встать, налить заварки и кипятка казалось невозможным. Я сидел, отпивал из кружки пустоту – сидеть просто так было тоже невозможно.

– Я позвонила Вере, – наконец сказала бабушка. – Спросила телефон агента. Она говорила тогда, что недорого схоронила Гришу, – да и все документы на участок у нее.

– И что? – спросил я. – Недорого?

– Ага, недорого. По телефону больше ста насчитал, сказал, что приедет – согласуем оставшееся.

Я чуть оживился. Все до этого – снимки, справки – меня как бы не касалось: что мне с этим делать? что на это сказать? Другое дело – деньги.

– Сколько ты отдала?

– Ему? Господь с тобой. Откуда мне взять сто и оставшееся? Я поискала в интернете: социальные похороны. Нашла что-то за шестнадцать. Приехала девушка, начали считать.

– Шестнадцать?

– Нет, конечно. За шестнадцать – гроб картонный и покойника вози сама. Вот она спрашивает: вам подушечку из марли или атласную? Так и спрашивает: *вам*. Какие-то образцы потрогать дает – как будто я марли никогда не трогала. Ну и цены: марля – сто пятьдесят, атлас – две двести.

Я все-таки встал, налил себе чаю. Бабушка схватилась за пиалу – нуги почти не убавилось, поставила обратно. Я спросил еще раз:

– Сколько ты отдала?

– Шестьдесят с чем-то. Зато намоют, привезут, свидетельство о смерти получают. А то где мне в праздники это свидетельство брать?

Я кивал.

– Я и без свидетельства с самого утра на ногах. Легла в четыре, в восемь поехали с Верой на кладбище – переоформили участок.

– Гришин?

– Нет, на Гришином нельзя хоронить – мало лет прошло. Ездили на Федяковское, похоронят с Валерой.

Вот так: отца – к отцу.

– Потом с Ниной заказали поминки.

– В Федяково?

– Нет, здесь недалеко. Зашли в столовую – прямо пахнет несъедобно. Нашли кафе, увидела в меню солянку – решила, что больше никуда не пойдём. Ты знаешь, отец любил...

– Знаю.

– Ну вот.

– То есть завтра на кладбище, а потом?..

– Нет, в десять к подъезду привезут, а потом всех на пазике до кладбища. Отпевание там же будет: я все заказала, всем позвонила.

– А обратно?

– И обратно на пазике.

– Ясно.

Неясно только, сколько она потратила. Шестьдесят – и еще поминки, отпевание. Я решил больше не спрашивать. На накопительном лежали сорок пять – на зубы: завтра сниму, отдам. Зубы позже – хотя позже свадьба. В общем, ко-

гда-нибудь. Подумал – и стало чуть легче.

Бабушка встала, взялась за лейку, стала лить воду в фиделки.

– Как приехала – ни разу про них не вспомнила. И Миша до меня, наверное, кое-как поливал.

Потом показала лейкой на фотографию у телевизора: рядом свечка и стопка под черным хлебом.

– Искала приличную – только такая. На себя не похож, да? Я подошел к телевизору. Отцу около двадцати: пиджак, бутоньерка. Лицо красивое, но грустное. Присмотрелся, понял: половина свадебной фотографии. Другой половины – с мамой – нет. Бабушка поставила лейку, встала рядом со мной.

– А если бы сделали трепанацию, а? Мне после праздников в садик – кому с ним оставаться?

– Ну, Миша...

Бабушка фыркнула:

– А Мише оно надо? У Миши своя жизнь.

«Варкрафт», ОМОН, «фиолетовая вата», да.

– Можно сиделку.

– Точно, – кивнула бабушка, – и непременно покрасивее. Вот скажи, могла я отказаться от трепанации? Я же спасти хотела. В двенадцатом году спасли же. А мне тогда говорили, что всё, что шансов почти нет. И выкарабкался же.

– Но тогда не трепанация...

– Тогда – нет. Ладно, чего теперь.

– Нет-нет, всё правильно. Если был шанс, чтобы выжил, – пусть и трепанация.

Бабушка села за стол.

– В двенадцатом году сказали: везите его в психушку. А я просила, чтобы оставили в обычной: из психушки уже не забрала бы. Врачиха тогда орала, дескать, что им делать, если он в окно выйдет? Я сказала: ну выйдет и выйдет – чего тут еще сделаешь. А он не вставал: лежал, смотрел в одну точку – какое там выйти?

– Помню.

– Я тогда принесла Матронушку маленькую – на цепочке. Надела ему на шею, потом что-то в тумбочке делаю. Слышу вдруг: мама! Озирается, спрашивает: где я? Представляешь, минуты не прошло.

– Да, ты рассказывала. И чего, осталась эта Матронушка?

– Я ему надела, когда скорая забирала, – не помогла. Видимо, время ему...

Помолчали.

– Знаешь, его везли – уже в пятнадцатой – он, кажется, все понимал. Лежал на каталке, а по лицу слезы, – бабушка прочертила пальцем: от глаза – по правой щеке. – Неужели знал, что умирает? Или больно?

Вслед за пальцем – слеза, настоящая: по правой, затем по левой. Я не знал, как сказать, что сделать: стоял у телевизора – свечка горела, под одной фиалкой расползалась лужа. Кое-как выговорил:

– Бабушка.

– Я держусь, – откликнулась бабушка. – Так-то вроде нормально, но завтра начнутся слова, соболезнавания – это тяжелее.

Вспомнили еще двенадцатый год – как отец воровал из больничного туалета рундук, как заявлял, что рундук – предмет *личной* гигиены. Как они жили, когда отец почти потерял память: записки, тетрадь с домашними делами, трижды за ужин один анекдот, прогулки до рынка по субботам, редкие побеги – раз в несколько месяцев, часа на два, не дольше.

– Разве это жизнь, – вздыхала бабушка, – сутками под замком? Сколько было друзей, неделю мог дома не появляться – и вот: сиди шесть лет взаперти.

Шесть лет, да. Я почти сказал, что восемь на зоне – все-таки хуже шести в квартире с тремя десятками кабельных каналов и котлетами в холодильнике, но удержался. Повторил бабушкино:

– Ладно, чего теперь.

Ничего, теперь ничего.

За окном уже ночь, и стекла туманят лиловый край неба с верхушками панелек, и кухня – одинокий берег, за которым мир струится и тает. Я спросил:

– Миша с тобой ночует?

– Со мной. Теперь вот купим новый диван – переедет в комнату отца.

– А старый?

– Старый сегодня выбросили. Думала отстирать – потом решила, что бесполезно.

– Как они с Ниной общались?

– Как всегда – то есть никак. Пока она здесь, он – в моей спальне. Она и не спросила про него.

– И что она? Такая же?

Бабушка посмотрела на меня устало, сказала:

– Завтра увидишь.

Мы еще посидели, я решил ехать.

– Точно не нужно остаться?

– Не нужно. Да и лечь негде.

Телефон полностью зарядился: я вызвал такси.

– Завтра приеду к девяти – вдруг какая помощь...

– Лучше выпишись. Приезжай со всеми к десяти. Миша поможет, если что.

Решил, чтобы ни ей и ни мне: в полдесятого. С трудом отыскал такси: один фонарь на весь двор. Выехали к реке, оставили позади Ленина, нарезающего дождь ладонью. На мосту полно машин – даже в первом часу ночи. Заметил – почти не веря глазам – что не стало километрового забора, что спустя без малого пятнадцать лет открыли набережную: скамейки, кустики, какие-то портики с колоннами. И люди: сидят, идут, смотрят, как там, через реку, свет бежит по ребрам стадиона – синий, с синего на желтый.

Подъезжая, вспомнил, что ключей нет: остались в Москве. Придется звонить – мама, наверное, спит, но что

поделаешь. Наконец, дом – панельный, в девять этажей, напротив винзавода. На темном фасаде – светло-серые заплатки: кому-то дуло, кто-то жаловался, что обои влажные; приехали, наляпали поверх старых швов свежего бетона. Слышал, что дует по-прежнему.

Прошел через арку. Двор благоустроили – вырубili последние два тополя: портили, суки, общественное пространство – летом пух, осенью листва. Может, опять кто-то жаловался. В подъезде все готово к чемпионату: нижняя ступенька отстала от лестницы, вдоль перил – две пустых бутылки и банка из-под маслин с окурками. Единице на стене пририсованы яйца – по три курчавых волоса на каждом. Площадка между первым и вторым – в буклетах «Пятёрочки», телепрограммах, листовках с «Филадельфией» за сто девяносто девять. Быстро поднялся на третий, позвонил. Где-то далеко за дверью шорохи.

Подумал, что первым делом постираю трусы и носки – свои и Фариковы. Потом найду среди старых вещей какую-нибудь футболку – темную, чтобы в ней на похороны. Зашумел замок (еще бы джемпер без Микки Мауса, думал я), дверь открылась.

Мама была пьяная: посмотрела на меня, почти решилась что-нибудь сказать, развернулась, ушла в зал. Судя по звуку, свалилась на диван. Мама почти не пьет – запрещено в какой-то суре. Мама ждет пятидесяти пяти, чтобы выйти на пенсию и поехать в Аравию – такая вот латентная паломни-

ца. Мама ходит каждую пятницу в мечеть, сидит после молитвы на чьих-нибудь поминках – непременно за *женским* столом. Мама, мама.

Я разулся, вошел в зал. На журнальном столике – липкий стакан. Бутылка лежит под диваном: пинотаж, пятнадцатый год. На полу – свадебная фотография: отец – те же пиджак и бутоньерка; мама – кремовое платье с кружевами на шее, крошечные цветы в волосах. Оба напряженно всматриваются в некую точку по ту сторону объектива – в одну на двоих. Оба одинаково бледные – фотография выцвела, будто приравняв их друг к другу, позабыв, как немного нашлось между ними общего в последующие несколько лет, как скоро не стало и того немногого: ей – сын, две-три подруги, почти нищета, еще одна свадьба на шестом десятке; ему – вино, какие-то теплоходы, рестораны, ненадолго Нина, потом срок, вино, инвалидность. Здравсьте, завотделения, умер. Я посмотрел на маму: полулежала на диване, одна грудь неприлично выглядывала из сорочки.

– Этот, – я положил фотографию к стакану, – свое выпил. Мама молчала.

– Как же твоя сура?

Мама выпрямилась – я различил слезы на щеках и на шее.

Опять начала:

– Ну что ему за жизнь?..

Я не дослушал, ушел.

Трещина поперек двери, полустертые чернильные черточ-

ки на косяке: внутри воздух пахнет уксусом и чем-то еще. Включил свет: стол, тумбочка, кровать, комод с бельем, шифоньер, книжный шкаф. Поверх старой мебели, сохранившейся в своей неподвижности нечто навеки завершенное, – приметы нового: вереница банок с огурцами и перцами, вешалка с пиджаками Семёна в полупрозрачных чехлах, мамины ноутбук и туфли. Грустно.

Решил сначала постираться, полез в рюкзак. Вытащил пирамидку – свежий скол вместо j – поставил на полку. Набирая в раковину воды, слушал, как мама шарахается по квартире, щелкает выключателями, хлопает дверьми. Постирал, развесил. Нашел футболку на завтра: темно-синяя, с логотипом иняза на груди. Разумеется, *XL*.

Принял душ. Лег.

Уснуть не получалось – какие-то мысли, обрывки строк: сколько мы прошли, Марсьенн? – похороны завтра, искренне соболезнуем. Вспомнил, что не сказал никому на работе. Что по учебе – эссе и экзамен в четверг. Что нет обратного билета. Что утром нужно найти банкомат. Проверил будильник, потом отключил связь, чтобы дольше сохранить батарейку. Потом включил и позвонил Серёже.

– Алло, – сказал Серёжа сонно.

– Алло, – сказал я. – Я приехал.

Серёжа оживился:

– Когда? Зачем?

– Отец умер.

Серёжа чуть завис:

– Ну-у...

– Ладно, не говори ничего. Встретимся завтра?

– Давай, – тотчас согласился Серёжа. – Ты вообще как?

– Нормально.

– Если хочешь, можем сейчас встретиться.

– Не, утром похороны. Завтра. Я позвоню.

Серёжа еще попытался что-то высказать, выразить. Я подумал, что давно его не видел, что соскучился. Так и сказал ему:

– Ладно, Серёж, я соскучился, – и тут же понял, как неуместно, не вовремя. Но Серёжа не заметил: спокойной ночи, крепись, – и отбой.

Снились стены, какие-то холсты, подъемные рамы. Холодно, тесно, и вдруг поскользнулся там, на темном полу, – и проснулся: полчетвертого. Выпил в кухне стакан воды, вернулся, взялся за телефон, будто должен кому-то позвонить – кому-то обещал. Через минуту понял: никому. Не обещал, не должен.

Пахло уксусом и чем-то еще.

Стол, комод, шифоньер, книжный шкаф.

Банки, туфли, пиджаки.

Уснул.

Маленький кинотеатр на бульваре Сен-Жермен: сколько мы прошли, Марсьенн? – кажется, весь Париж. Твоя юбка в

пыли, а посмотри на мои ботинки. Мы увидели город, словно поднялись на Эйфелеву башню, – но не встретили ни души: есть ли здесь, в бесконечности этих улиц, люди, кроме нас? Или всякий раз Париж принадлежит лишь двоим – независимо от положения часовой стрелки, расписания поездов, новостных радиопередач? Можно ли тогда желать чего-то на секунду большего, чем подаренное нам одиночество, что так хорошо к твоим волосам, хорошо к сигарете и исповеди птиц?

Упиваться герметичностью нашего Парижа, чувствовать непрерывность этого города, его запах земли и липового цвета. Отнять тебя у шелковых простыней в квартире на улице Клиши, говорить с голубями на зеленых скамейках в тени Святой Троицы, просить шорле и поменьше льда в кафе у Лафайет. Потом тянуть лимонад из кувшина – вдвоем через прозрачные соломинки – и глядеть, как, выдыхая дым, бегут автобусы. Довериться ветру, вступить в сговор с мотыльками и пчелами, лететь по проспекту Оперы, с каждой секундой ощущая все большую близость реки. Ворваться в квадрат колоннады, смотреться в тонкую слюду солнца на стеклах пирамид, чувствовать, как время перестает существовать с очередным поворотом колеса обозрения в пролете арки Каррузель.

Я люблю тебя, Марсьенн, но повторяю эти слова так часто, что они теряют всякий смысл, или же иные чувства отменяет страх, оттого что воздух над рекой кипит и плавится,

глухими порывами вырывает из меня ключья. Я люблю тебя, но мир распадается, заставляя меня ползать младенцем в запахах асфальта, пока ты идешь пешеходным переходом через улицу Обер, восхищаясь величием театра, города, Солнечной системы, и в твоих зрачках плывут облака по перевернутому небу, кажущемуся в отражении еще прекраснее. Я люблю тебя, Марсьенн! – и всякий раз в ожидании твоего отклика совершаю миллион бесполезных движений, подобных движению пыли в луче света, но вместо единственно спасительного ответа:

– Может, вечером в кино?

Пройти геометрически выверенными аллеями Тюильри, взять по бумажному стаканчику с кофе, сесть в деревянные стулья с видом на восьмиугольник пруда и фонтан, бьющий в небо. Потом бежать от шума машин, что к шести накрывает площадь Согласия, возвращаться к Лувру променадом у самой воды, целоваться под мостами в сырости и пятнах бензина. Подняться лестницей в двадцать восемь ступеней, сложенных потемневшим от времени камнем. Встать над рекой, над проплывающей в оливковом тумане баржей, над ее палубой, укрытой жухлыми яблоневыми лепестками, мелькающей в просветах деревянного настила моста Искусств. На секунду испугаться, осознав, как безжизнен город, разбегающийся улицами во все стороны: нескончаемое движение пустых машин на набережной Межисри и поезда седьмой линии под ней, что тащатся без пассажиров из Ла-Курнёв

В Вильжюиф, покинутые скамейки по холке моста и золотистые замки без имен, повисшие на чугунных решетках по берегам. Представить череду безлюдных дворишков, где лишь сирень да кошки, проспекты в стрелках одуванчиков и траве, что из каприза ушла от предначертанных ей газонов, необитаемые мансарды, в окна которых глядят бездомные чайки. Почувствовать твою ладонь, твое зовущее касание, спуститься к Академии и аркой под маленьким круглым окошком выйти на улицу Сены. Сесть за барной стойкой, успокоиться, приняв рюмку перно, затем с полчаса пить мартовское пиво и кормить тебя соленым миндалем, пока ты ищешь сеть, а потом – сеансы.

Маленький кинотеатр на бульваре Сен-Жермен: название над решетчатой дверью – буквами, одетыми в тусклые лампочки. Показывают «В прошлом году в Мариенбаде», на афише – Дельфин Сейриг в черном шанелевском платье: кажется, ты в восторге – этого хватит, чтобы пережить сеанс. Извинившись беглым поцелуем с запахом сигареты, ты исчезаешь в поисках уборной, а я молю буфетчика об очередной порции перно: эта точно будет лишней, но кто подскажет иной путь к спасению, когда комната буфета дрожит, словно скворечня на ветру. Если бы не жар в носу, если бы не глухой шум крови в ушах, легко представить, что в груди – разлом, что все средоточие меня вложено в твой едва очерченный силуэт на другом конце моста Искусств, но пустота внутри непременно заполнится в момент, когда мои пальцы

нащупают твои в водяном пару над рекой, – вот только сердце твердит, что оно все еще здесь, под кожей и ребрами: жалит аж в животе и прячет рюмку с перно от глаз за лиловыми пятнами.

Заново открыть существование человечества, понять во всем иную его природу: слушать шорох плюшевых сидений и реплики вполголоса, сказанные кому-то или в пустоту. Глотать черно-белое зелье Алена Рене, с каждым кадром теряя город, рожденный нашей близостью. Ты прощаешься случайным прикосновением, замыкаясь в своем собственном городе, в своем Мариенбаде: я стою под его стенами в ожидании трещины, что могла бы меня впустить, но ты медленно растворяешься в сиянии экрана, уходишь в деревья без тени, выбираешь неестественные позы и забвение всего, что рядом. Я люблю тебя, Марсьенн, я кричу тебе это вслед, но проходят годы, прежде чем проходит час, и зажигают свет, и, возвращаясь в свое тело из блужданий в ином далеком пространстве, ты смотришь на меня устало:

– Знаешь, хочется пить, закажи шорле или вина.

Кафе у кинотеатра: столик на двоих – и люди, море людей вокруг. Ты не голодна, ты повторяешь это дважды, но я все же открываю меню – наугад – и прошу у официанта три верхние строчки. В бокалах – сотерн, на сиреневом блюде – сыры и ломтиками паштет; через минуту – крем из спаржи, сервированный горьким розмариновым маслом. Ты находишь масло восхитительным, присваиваешь и макаешь в

него хлеб: ты непременно купишь галлон такого масла. Я жую сыр, пытаюсь упомнить все, что ты хотела купить за сегодня: все на свете масла, лавандовые шампуни, засахаренные фиалки – если следовать списку, то все очарование Парижа переедет на улицу Клиши, в шифоньеры и шкафчики. Наверное, ты коснулась моего плеча, прежде чем позволить себе перерыв на сигарету и глоток ночного воздуха, но я смотрел сквозь стекло и сотерн – я порой ненавижу себя за это увлечение иной, призрачной Марсьенн, сложенной долгими ночными фантазиями, такой далекой от Марсьенн, заскучавшей в треугольнике бокала, хлебной корзинки и графинчика с маслом. Я возвращаюсь в душное кафе, выхваченный внезапным вопросом, смотрю непонимающе в овал головы под вьющимися прядями и пиджак цвета грецкого ореха, местами заляпанный краской, – а пиджак знай себе спрашивает и кивает на твою тень, вписанную в окно. Я киваю тоже, пиджак одобряет и похлопывает меня по плечу. Ты возвращаешься, он что-то рассказывает тебе, муха ползет по бокалу; я перебиваю, говорю, что пятно на его воротнике – это персидский синий, такой чистый, его так сложно смешать. Вы смеетесь. Пиджака зовут Батистом – до чего неприятное имя: ты решаешь сократить до Бабу или он решает – уже не помню. Помню, что повторили сотерн: вино пахло плесенью и пробкой, и воздух стал горьким, хотя вряд ли ты заметила.

Дышать этим воздухом, разъедающим мне душу, возду-

хом, у которого столько имен, сколько может прийти в голову, – вот и все, что мне остается, когда, неспособный отвернуться, спастись отрезком улицы за окном, вижу, как ты отдаляешься, превращаешься в туман. И никто из нас не может объяснить почему, не может придумать ничтожнейшей причины; ты желаешь спокойной ночи пиджаку, а привкус горчи прокрадывается в самые невинные занятия, пристаёт к самым обыденным вещам, и футляр напольных часов на выходе из кафе напоминает гроб – остается вздернуться на цепях от маятника. Молчать, чувствуя, как слова теснятся во рту, будто люди на выходе с Одеон; потом смеяться, пока из глаз не потечет вино, зная, что небо все равно глядит на нас из луж, разбросанных по мостовой, как отвергнутые любовные записки, как страницы неудавшегося романа. Идти пешком до улицы Клиши, передумать, не пускать тебя домой – ты сама не больно-то хочешь. Вернуться на набережную: снова ступени, мосты – и уже площадь Согласия, отель. Пересчитать купюры, положить ровной стопкой на стойку. Третий этаж, триста восьмой опечатан: ты слышала, здесь застрелили кого-то – прямо средь бела дня – не может быть, погоди, наш триста девятый. Не зажигать свет, включить только радио, чтобы ты раздевалась, тихонько подпевая. Карандашом протолкнуть пробку, разлить вино в гостиничные кружки – вино пахнет яблоком и медом.

Докурив, ты не закрыла окно – и теперь спасаешься от холода одеялом. Я еще в плаще: сажу в кресле, смотрю на те-

бя, на твои плечи, проступающие в сумерке белыми пятнышками, на две темные полосы ключиц. Закрывай окно и раз-
давайся, твердят мне ключицы, но губы, сложенные печаль-
ной чертой, не дают выхода словам. Я не курю, но вот взду-
малось: может, больно от тишины – или кислый тон шабли
требует сигареты. Я нащупал твою пачку на подоконнике и
дымлю прямо в кресле, с третьим выдохом комната расплы-
вается – и становится легче представить твой влажный рот,
полуоткрытый в призыве. В коридоре рыдает сирена, люди
сыплются на лестницы из дверей, открытых в сны, а по лест-
ницам – вниз, до самого дворика с пустыми клумбами и афи-
шами сорокалетней давности.

Плащ остается в кресле, ботинки и джинсы падают в ногах
постели, рубашка летит на торшер. Меня нет: я потерялся
между простыней и твоими коленями, пропал на твоих гу-
бах, в прикосновениях нежных рук к моей груди. Там, тре-
мя этажами ниже, кто-то повторяет, что тревога смолкнет
через пять минут, что номера для некурящих; если ты со-
противляешься – уголками глаз или рисунком пульса – ни-
чего не разобрать в возмущенном шепоте, льющемся в щель
под дверь, в бесконечном стоне двух пожароизвещателей
на этаже, в бормотании радио.

Я люблю тебя, Марсьенн, но повторяю эти слова так ча-
сто, что они теряют всякий смысл, или же меж букв вклини-
ваются неровные запятые проулков за Северным вокзалом и
крошащиеся кавычки черепичных крыш. Я даю тебе слово,

я останусь с тобой: я отрекусь от цветных отсветов по стенам и грохота в шесть утра, откажусь от отсутствия, что зовется воспоминаниями, я навеки привяжу себя к сегодняшнему дню, по которому твой взгляд скользит, подобный мухе. Я буду здесь, буду с тобой, Марсьенн, смирившись с безотчетным волнением в этом горьком воздухе: я отучусь доверять кричащей синеве, нависшей над нами, пусть даже за окном весна, – лишь бы все мои мечты отцвели и сдохли. И отдать бы сомнения дыму, обдать копотью легкие, но сигарета дрожит между пальцев, напуганная тем, что любое движение грозит стать движением назад к тому, от чего сбежать кажется невозможным. Наверное, единственным спасением будет ожидание, полупрозрачная надежда на время, что сможет отдалить горизонт под бледными звездами, а другая звезда, красная, подернутая пеплом, движется к фильтру, пожирая сигарету, превращая ее в ничто – в пятно дыма, искажающее твой силуэт.

Отца не стало в девяносто четвертом.

Мне было два – со мной сидела бабушка, другая бабушка заведовала хозяйством в детсаду. Мама напрасно ходила с дипломом инженера-строителя по всевозможным конторам – видно, строить в девяносто четвертом было нечего – и наконец устроилась приемщицей в ломбард. Отец работал в ресторане барменом, до этого – официантом, приносил домой обрезки мяса и коньяк на доньшке. Мясо – маме, коньяк

– себе. Он был младше мамы на четыре года: мама часто говорила, что прежде сына воспитала мужа. Это, конечно, неправда: меня растили бабушки, а муж почему-то ушел. Я как-то – лет пять назад – спросил отца: почему?

Отец отшутился:

– Жрать было нечего.

Жрать действительно было нечего – несмотря на мясные обрезки, на щи и запеканки, которые бабушка выносила в баночках из детсада. Мама часто вспоминает, как ее подруга – жена какого-то полковника – принесла ей старые платья и попросила стакан чаю. Мама налила, поставила.

– И всё? – спросила подруга.

– А сахара нет, – сказала мама, – мы его не едим.

Тогда подруга открыла холодильник – и сразу закрыла. Ушла, вернулась с пакетом. В пакете – куча всего, но мама запомнила один сыр: грамм четыреста.

– Я сыр последний раз при Советах видела, – всегда говорит в этом месте мама.

«При Советах» – это она у бабушки набралась. Для бабушки «при Советах» – какие-то незапамятные времена. Когда я начал писать, бабушка сказала:

– Вот и насрать на этот иняз. Иди лучше на филологию.

Я не понял:

– Зачем?

– Затем что писать надо уметь. На филфаке научат.

– А Гоголя никто не учил...

– Так это когда было, – отрезала бабушка. – При Советах.

Бабушка филфак не закончила: жила в деревне, ездила на сессии на автобусе, потом на электричке. Потом перлась обратно с книжками из библиотеки: латынь, риторика, стилистика. Потом родился отец – и стало не до стилистики.

Отец родился в семьдесят первом, я – спустя двадцать лет. Отец родился в деревне из тридцати домов, я – в роддоме на Варварке. Отец родился при Советах, я – при Ельцине. Ничего общего.

(Зачем бабушка уехала в деревню – отдельная история: расскажу при случае.)

Что было до девяносто четвертого – не помню. Судя по рассказам, нищета: даже отопление отключали за неуплату – мама пеленала меня прямо в коляске, чтобы я не околел. После девяносто четвертого и вплоть до нулевых – одно-единственное воспоминание об отце: мне пять, он уже год живет с Ниной, ноябрь. Он приходит в ломбард, я играю в подсобке колечками, сережками – в детсаду карантин. Мама зовет меня – я вижу его лицо в окошке. Он говорит:

– Пойдем?

И мы пошли. Он был без шапки – я свою тоже снял, спрятал в карман. Он купил мне самосвал – дешевый, из желтой пластмассы, одно колесо посажено глубже других. Зашли к Нине, съели оладьи – самой Нины не было. Еще погуляли, вернулись в ломбард. Мама увидела, что я без шапки, сказала отцу, что он – идиот, что у меня – менингит, что самосвал

– китайское дерьмо. Отец ушел, но вечером позвонил – мама позвала меня к телефону.

– Что у тебя? – спросил отец. – Менингит?

Менингита я в себе не чувствовал.

– Вот видишь, – сказал отец. – Не слушай ее. И про самосвал не слушай.

И после паузы:

– Я тебе другой самосвал подарю. Или... что хочешь?

Я подумал и ответил:

– Паровоз.

Никакого паровоза я не хотел: он как-то сам пришел на ум – вслед за самосвалом.

– Значит, паровоз подарю, – пообещал отец.

Мама не помнит ни самосвала, ни паровоза – я, кажется, заранее знал, что никакого паровоза не будет, и ничего ей не сказал. А может, и вправду не было всех этих самосвалов-паровозов, всё – выдумки: нужно ведь что-то помнить об отце. Как бы то ни было, через восемнадцать лет я сочинил такой вот текст:

Сколько раз собирался писать об отце – не хватало времени. Порой увижу где-нибудь лист бумаги, сразу представлю абзац-другой – думаю, как бы сберечь до вечера. Возвращаюсь домой поздно; засыпаю в мечтах о том, как завтра напишу о прогулке восемнадцатилетней давности или о паровозе, который отец обещал подарить на день рождения.

И снова вечер – и снова пустота: перед сном имеем отсутствие рассказа – дырку от рассказа, если угодно. Что, если не может существовать мой рассказ об отце, как не существовало отца в моей жизни? Что если желание иметь отца рождает желание писать о нем, но никогда не родит самого рассказа?

Я показал текст Серёже. Серёжа сказал:

– Про паровоз сфальшивил.

– Какая разница, – ответил я, – на день рождения или просто так.

Серёжа выпучился – я вспомнил, что про паровоз никогда не рассказывал. Рассказал. Серёжа замотал головой:

– Я не об этом. Пускай обещал – но такой он банальный, этот паровоз. Замени хоть на пирамидку, – и зачем-то собрал фигуру из пальцев: на левый средний набросил колечко из правых – большого и указательного.

– Пирамидку, – повторил я за Серёжей. – Очень свежо.

Пирамидкой дело, конечно, не поправишь: слишком уж наивно написано. Но эта мысль, неумело втиснутая между бубликом и паровозом, – мне от нее страшно. Можно перепачкать сотни листов, написать новый «Чевенгур», написать целую полку, где каждая книга – новый «Чевенгур», можно, в конце концов, остаться в чьей-нибудь жизни, в чем-нибудь воспоминании дешевым желтым самосвалом или нарушенным обещанием – и все равно исчезнуть.

Исчезнуть почти за четверть века до звонка: здрасьте, зав-отделения, умер.

В третий раз пропищал будильник. Я наконец встал, пошел в душ. Попользовал мамины дезодорант и зубную щетку. Вернувшись в комнату, снова почувствовал уксус, крикнул:

– Мама!

Мама чем-то шуршала в зале. Вошла – в неглаженном синем платье, в нелепо выглядывающих из-под платья брюках: видимо, думала, что надеть. Я спросил:

– Уксусом воняет, или кажется?

– Не кажется, – сказала мама. – Я плесень травила.

– Плесень?

– Вон там. Весна была сырой – весь угол почернел.

– Как так почернел?

– Я не сразу увидела: там вешалка стояла. Я рубашки Сёмины доставала, смотрю – на чехле чернота какая-то. А там и угол заметила.

– И ты его уксусом?

– Ну да, содой и уксусом. Надышалась – две ночи голова болела. Говорили, не бери угловую квартиру, – но тогда и выбирать-то не из чего было...

Нужно было как-нибудь свернуть ее историю. Я подумал сказать, что уже полдевятого, но мама сама глянула на часы и заторопилась:

– Не представляю, чего надеть, а еще гладиться нужно, –

и ушла.

Я нашел на гугл-карте банкомат, оделся. Надел инязовскую футболку, поглядел на Фарикову – кислотно-салатовую. Сразу мысли – отмахнулся. Свернул джемпер в рюкзак, проверил бумажник и паспорт. Выскреб осколки керамики, зачем-то сложил горсткой у пирамидки. Обулся, вышел.

Обнаружил, что к сорока пяти тысячам на счету добавился процент – пятьсот пятьдесят рублей. Пятьсот пятьдесят тоже снял – на проезд: наличных у меня вечно впритык, я решительно живу в эпоху эппл-пэя, еще неведомую «Пассажиравтотрансу». В автобусе обнаружил эсэмэску: напоминаем, что четырнадцатого числа с вашего счета спишется абонентская плата за тариф и подключенные услуги, и ежемесячные подписки, и еще что-то там. Хотел положить деньги на телефон, полез было в приложение. Выехали на мост – интернет отвалился. Ну, потом.

Вышел на набережной, чтобы пересесть на другой автобус. Начал накрапывать дождь, бронзовый Ленин снова выставил ладонь под капли. Пока ждал, вспомнил про метро: открыли или нет? – так и не спросил. Погуглил: откроют в День города, то есть завтра. Раньше День города был в сентябре, но лет пять назад решили праздновать заодно с Днем России – дефицит салюта, наверное. И вот: ложкари, ансамбль нацгвардии, какие-то «Гуси-лебеди». Прочитал еще, что всех гостей и жителей города поздравит и порадует своим творчеством Егор Крид, – искренне соболезуем.

Неожиданная пробка у виадукa (выходной, пятнадцать минут десятого – откуда что берется?), опять панельный микрорайон. Перед домом вспомнил, позвонил маме:

– Не вздумай начинать свои стенания: «что за жизнь» и так далее.

– Ладно, я в маршрутке – неудобно говорить.

– Бабушку пожалей...

Мама перебила:

– Я поняла, – и положила трубку.

Домофон, лифт на девятый – дверь открыта, в тамбуре пусто. Где-то в глубине квартиры Нинин голос – писклявый, противный. Начал развязывать шнурки, услышал бабушку:

– Не разувайся, проходи.

Бабушка в черном: блузка, юбка, платок на голове. На груди брошка – крошечный белый цветок, вдруг напомнивший отцовскую бутоньерку. Кажется, слоновая кость – лепестки тонкие, почти просвечивают; вместо пестика – серебристая бусина.

Бабушка проследила за моим взглядом, спохватилась:

– Вот дура – забыла снять.

Ушла в спальню, вернулась без брошки. Обнялись.

– Диван, конечно, выбросили – а сидеть теперь негде, – сказала бабушка. – Иди на кухню, что ли...

– А помочь?..

– А чего помочь? В десять привезут – спустимся. До десяти делать нечего.

Пришлось идти в кухню. С порога – печальный взгляд отца, стопка, свечка. Потом Вера, Нина и еще одна, грузная, в нелепом черном чепце, вроде знакомая, – кто такая? Кивнул:
– Здравствуйте.

Нина кивнула в ответ, Вера встала обнимать.

– Вот ведь, – сказала, – несчастье. – От нее пахло перега-ром и жвачкой. – Ольгу Павловну помнишь?

Ольга Павловна тряхнула чепцом:

– Я-то его помню – вот таким был, – и показала рукой на уровне колена. – Когда к Люсе приходил, открывал шкафы – и давай всё оттуда на ковер: книжки, вилки, елочные игрушки – всё подряд. А Люся уговаривает: пойдём лучше мультики, давай раскрасочку.

Ольга Павловна была бабушкиной одноклассницей или одноклассницей – точно так и не вспомнил. Вспомнил, что беда с головными уборами у нее началась давно: чепцы, береты, желтое с красным сомбреро. Этакая миссис Долгопупс – огромная шляпа с побитым молью грифом – только никаких внуков и детей. И никакого мужа.

Вера что-то рассказывала об отце, Нина смотрела в окно на соседнюю девятиэтажку. Зашла бабушка, сказала мне:

– Когда пойдём вниз, возьми букет и фотографию. Букет в спальне.

– А фотография?

Бабушка показала на телевизор: все будто в первый раз посмотрели в бледное лицо, пиджак и бутоньерку.

– Правда, что он в последние годы сильно изменился? – спросила Ольга Павловна, когда бабушка вышла. – Мне Люся сказала...

– Вот и проверите, – сказала Нина в окно. Ольга Павловна на секунду замерла с разинутым ртом, потом опомнилась, схватила со стола стакан, протянула мне:

– Будь добр, налей водички!

Зазвонил домофон – я скорее вышел в коридор. Там уже стояла бабушка.

– Агент приехала, – объяснила она, повесив трубку. – Свидетельство привезла.

С агентом вошла мама. Пока бабушка что-то спрашивала, где-то расписывалась, мама успела разуться и – только бабушка закрыла дверь – завела:

– Людмила Ивановна, ну как его жалко, как жалко, я вторую ночь не спала, как же так, я недавно думала, что скоро день рождения, что не забыть поздравить, а теперь, как жалко, вот тут Сёма передал, он тоже в шоке, – и сунула бабушке в ладонь сколько-то денег.

Бабушка растерялась.

– Спасибо. И Семёну спасибо. Ты бы не разувалась...

Мама все говорила про то, как ей жалко; я вспомнил, что мои сорок пять еще в кармане.

Сказал маме:

– Ладно, иди на кухню, – и отвел бабушку в спальню.

Окна были зашторены, разглядел в полутьме гвоздики на

подоконнике и Мишу на кровати: смотрит в потолок, в ушах наушники. Я достал деньги, начал:

– Вот, я утром снял...

Бабушка замахала:

– Христа ради, не сейчас – ничего не соображаю.

Я кивнул, убрал деньги. Мы вышли, бабушка – сразу в туалет: шпингалет, шум воды.

Мама на кухне не было, Нина по-прежнему смотрела в окно, Вера объясняла Ольге Павловне, где Федяковское кладбище, стакан, пустой, стоял на столе. Зашел в отцовскую комнату: мама прислонилась к стене, – на месте дивана.

– Я же просил без этого.

– Без чего? – спросила мама.

– Без «как его жалко».

Мама словно не слышала:

– А диван почему выбросили?

– И прекрасно ты спала – после пинотажа.

– Вот и нет. В три проснулась и до утра ворочалась. Во сколько привезут?

Посмотрел в часы на стене: пять минут одиннадцатого.

– Опаздывают. Должны были в десять.

Зашла Ольга Павловна, огляделась. Спросила:

– Это *его* комната, да? Помню, у Люси тут зимний сад был, монстера была – вот с такими листьями. – Она широко развела руки. – А теперь одни фиалки.

– Монстера на Рокоссовского была, – сказала мама. – Она,

когда переезжала, не стала ее брать.

– Почему?

Мама пожала плечами. Ольга Павловна закачала головой, точно мама ее подвела. Продолжила:

– А вы первая жена, да?

– Да.

– Ну, сочувствую. Люся сказала, он в последние годы изменился...

– Совсем не изменился, – зачем-то соврала мама. После двенадцатого года – она это знала – отца было почти не узнать: похудел, ссутулился, сморщился, будто вылинял.

– Я давно его не видела, – сказала Ольга Павловна. – Я и Люсю-то давно не видела. Но его – дольше. Последний раз – до зоны.

Про зону мама не любила. Думаю, она жалела, что ни разу – почти за восемь лет – не съездила к нему. Конечно, когда он сел, они были в разводе, почти не общались, была Нина – и даже Миша – и, в общем, казалось, что ехать незачем, что слишком далеко, а человек почти чужой – если не хуже, что сам, в конце концов, виноват... А теперь жалела. Попросила как-то:

– Узнай у Людмилы Ивановны, как часто она к нему ездила.

Я и так знал: дважды в месяц. Электричка, потом автобус – как в студенческие времена.

– Совсем не изменился, – повторила мама.

Ох уж эти мертвые – они отданы нам на милость, да.

Где-то зазвонил бабушкин телефон: видимо, привезли. Мы с мамой и Ольгой Павловной вышли в коридор – там уже одевались Вера с Ниной, в тамбуре обувался Миша, по-прежнему в наушниках. Я взял фотографию в кухне, зашел в спальню за гвоздиками. Бабушка стояла у шкафа, рассматривала плечики с жакетами. Наконец сняла один, сказала мне:

– Обещают дождь. У тебя есть что надеть? Может, Мишино возьмешь?

Я ответил, что есть джемпер. Запоздало вспомнил про Микки Мауса, но бабушка успела закрыть шкаф. Я вынул из вазы гвоздики, нашел в коридоре рюкзак, вышел на лестничную площадку.

Ольга Павловна занимала половину лифта, Вера и Нина кое-как заняли вторую половину – лифт уехал. Миша сказал, что спустится по лестнице. Я почти пошел за ним, но вдруг подумал, что там внизу отец. Понял, что не сделаю и шага, что никуда не тороплюсь. Пускай лифт ползет себе до первого этажа, берет на борт еще каких-нибудь пассажиров, везет их, скажем, на третий, пятый и седьмой, а потом поднимается за нами: мы тут, никуда не денемся. Бабушка закрыла тамбурную дверь, над лифтом вспыхнула единица – внизу зашумели двери. Мама снова нажала на кнопку, через полминуты лифт раскрылся – безнадежно пустой. Еще через полминуты мы вышли на первом, сразу слышали Верин

плач. Бабушка что-то зашептала, мама споткнулась на предпоследней ступеньке. Я нащупал кнопку, открыл дверь.

На пяточке перед подъездом стоял гроб: фиолетовый бархат, грубые черные кружева, две переносные подпорки. Вокруг – Вера, Миша, Нина и Ольга Павловна неровной линией. Через проулок – пазик, у пазика – трое мужичков: один – в пиджаке, двое – в темно-синих комбинезонах. Тот, что в пиджаке, – должно быть, старший – отделился от остальных, зашагал нам навстречу; я разглядел за ним прислоненную к багажнику крышку: тот же фиолетовый бархат и распятие – блестящее, точно из фольги.

– Вы заказчик? – спросил мужичок то ли у меня, то ли у мамы.

– Я, – сказала бабушка.

– Все спустились?

Бабушка огляделась.

– Все.

– Мало вас, – заметил мужичок.

И потом громко:

– Тем, кто не поедет на кладбище, нужно попрощаться: обойти гроб справа по кругу и поцеловать иконку. Понятно?

– Понятно, – сказала бабушка, прошла мимо мужичка и встала у гроба. Я шагнул за ней – и разом увидел обитое белым нутро и отца, господи, тоже белого, словно мерцающего, нет, не могу – отвел взгляд, встал рядом с Верой. Вера повернулась ко мне, заплаканная, сказала:

– Не узнать.

Я хотел ответить, попытался вспомнить, представить: вот бархат, белый атлас внутри, и – что? – пустота. Снова посмотрел на гроб, понял, что не могу удержать в голове образа, что в глазах – одно белое пятно, отороченное черным кружевом, что мужичок третий раз говорит мне:

– Встаньте с портретом вот здесь. Слышите, эй?

Я отдал Вере гвоздики, прошел к гробу какой-то замысловатой траекторией: за спинами Миши (всё еще в наушниках), Нины (шептавшей Мише, чтобы вынул наушники), Ольги Павловны (быстро-быстро крестившейся). Остановился там, куда показывал мужичок, выставил перед собой фотографию.

– Всё, начинайте, – сказал мужичок.

Но никто не начинал. Мужичок повторил:

– Начинайте.

– Что начинать? – спросила бабушка.

– Я же объяснил. Кто не едет на кладбище, подходим прощаться: обходим гроб, целуем иконку. Начинайте.

Но никто не начинал.

– Оля, – негромко сказала бабушка, – ты же не поедешь на кладбище. Прощайся.

Ольга Павловна перестала креститься, посмотрела на бабушку так, будто бабушка сказала что-то возмутительное, наконец ответила:

– А я поеду, – и опять ничего.

– Ну, – сказал мужичок как-то неловко, – если все едут, то поедемте.

Двое в комбинезонах ожили, открыли незаметный люк в задней стенке кузова, быстро затолкнули крышку гроба в салон. Мужичок скомандовал садиться: первой к пазику зашагала Ольга Павловна – словно торопилась, боялась передумать, за ней остальные – все, кроме бабушки. Бабушка стояла у гроба – я вдруг заметил, что она плачет: по щекам две ровные струйки. Она наклонилась – может, одернула кружева или разгладила атлас – я по-прежнему не различал, что там, в гробу, – есть ли там вообще что-то?

– Поедемте, – настаивал мужичок. – У моста пробка, а отпевание – в двенадцать.

Подошли двое в комбинезонах, готовые отправить гроб вслед за крышкой – в тот же люк. Я коснулся бабушкиного плеча, позвал ее – неуверенно, даже как-то беспомощно; бабушка вздрогнула и заговорила, обращаясь в пустое пространство над гробом:

– Отмучился, теперь всё. Ты уж прости нас – все мы грешные.

– Поедемте, – в третий раз сказал мужичок.

И бабушка кивнула:

– Поедемте.

Мы двинулись к пазику, гроб – следом: я расслышал, как выдохнули двое в комбинезонах, как скрипнули, избавившись от ноши, подпорки, как потом они схлопнулись одна за

другой – видно, их сложил мужичок. Мы уже поднимались – бабушка неожиданно остановилась на первой ступеньке, повернула ко мне лицо, совершенно сухое, спокойное. Сказала:

– Нужно в кафе позвонить – сказать, что будет семеро вместо шести. Хотя...

Она поднялась в салон и спросила:

– Оля, ты только на кладбище? Или и помянуть поедешь?

Ольга Павловна ответила – почти не раздумывая:

– Поеду. Помяну.

Бабушка опять повернулась ко мне, посмотрела устало, но промолчала.

Ольга Павловна и Вера сели вместе – слева, у самой двери. Точнее, села Ольга Павловна, а Вера кое-как уместилась на оставшемся краешке сиденья. Остальные сели по одному. Нина – справа, спиной к водителю, чтобы не дай бог кто-нибудь не сел рядом, бросила сумку на сиденье напротив. Миша – за Ольгой Павловной. Мама – через проход от Миши, уткнулась в окно – вероятно, чтобы не смотреть на Нину. Бабушка показала мне сесть, а сама осталась у двери.

– Отпеваем на Новом Федяковском, – сказала она, когда мужичок поднялся в пазик. – Знаете, да?

– Знаю, – ответил мужичок. – Хороним там же?

– Нет, на Старом.

– На Старом разве еще хоронят?

– Мы в родственную могилу.

Я сел рядом с мамой, думая, что бабушка сядет с Мишей,

но бабушка, договорив с мужичком, прошла в конец салона и села на боковое сиденье. Мама тут же подтолкнула меня локтем, чтобы тоже сел сзади, чтобы был рядом с бабушкой. Я встал, дошел до бабушки – бабушка подвинулась, чтобы я мог сесть. Я сел – кроссовки уперлись во что-то, я опустил взгляд. Гроб.

Пазик тронулся; мужичок громко объяснял водителю, что на Молитовском пробка, что проспект тоже стоит, что лучше по Мызинскому мосту – и там по Ларина до кладбища. Еще громче – словно пытаюсь перекричать все мосты и проспекты – Ольга Павловна объясняла Вере, что покойнику непременно нужен в кармане носовой платок, иначе чем утирать пот во время суда? Вера дважды спросила: какого *суда*? – оба раза впустую. У мамы зазвонил телефон – мама тоже стала объяснять: эти фасады дороже, те – дешевле, но из дерьма. Бабушка наклонилась ко мне и тихо сказала:

– Правда ведь похож на шейха?

Я переспросил:

– На шейха?

– Да, с этим белым платком у головы – как в куфии.

И я посмотрел: действительно, вокруг лица – белый шелковый платок, прикрывающий шрамы за ушами. И само лицо: оплывшее, точно из воска, чуть синеватые веки, чисто выбритый, скошенный влево подбородок, бумажная лента на лбу. И еще застегнутая до последней пуговицы рубашка, иконка в руках, связанных тонкой полупрозрачной ниткой,

белый костюм из неведомой ткани – дешевой, будто жеваной, с мохрами на швах – когда я последний раз видел отца в костюме? Я перевел взгляд на пиджак с бутоньеркой: никогда.

Пазик выехал на мост. Ольга Павловна все учила Веру хоронить, мужичок обсуждал с двумя в комбинезонах, как ехать от Нового Федяковского до Старого, – я так и не понял, в чем загвоздка. Бабушка еще раз сказала:

– Нужно в кафе позвонить, – и уже полезла за телефоном, но вдруг передумала и опять отвернулась – опять уставилась на платок вокруг отцовской головы. Я решил позвонить сам, но вспомнил, что не знаю куда. Затем вспомнил, что должен был взять гвоздики, с облегчением обнаружил их у Веры; стал смотреть в окно – чтобы только не видеть ни гвоздик, ни гроба, ни пазика: река текла под мостом лениво – будто вовсе не текла. Мне показалось, что вот сейчас, в эту самую секунду что-то случится – не может не случиться: ветер опрокинет мост, и поползет с холма березовый лес, и зачернеет трещина в поверхности воды – а дальше? – вскинется рука, сверкнет клинок, проснется рыцарь в хрустальной гробнице. Но ничего не случилось; я тронул бабушку за плечо – она повернулась. Я напомнил:

– Ты хотела позвонить.

– Куда?

– В кафе.

Бабушка закивала:

– Да, нужно позвонить, – и достала телефон. – Слушай, одиннадцати нет, и ехать осталось минут десять. Интересно, смогут раньше отпевание начать?

Я пожал плечами.

Я не знал, что в Федяково есть кладбище, никогда не был на могиле у деда – даже на похоронах его не был: это была среда, конец четверти, контрольная по геометрии – да и о существовании деда я узнал чуть ли ни в день похорон. Для меня Федяково начиналось и заканчивалось огромной, тысяч на сто квадратных метров, «Мегой»: фрикадельки в «Икее», пластмассовый каток, бесплатный автобус, переполненный в любое время дня и ночи, в любое время года. Я смотрел в окно: «Мега» виднелась краешком вдалеке – уже пошарпанная, поднадоевшая, с полупустой парковкой. Где же кладбище?

– Там, – ответила бабушка и показала в другое окно. Через шоссе от «Меги» тянулся синий строительный забор – и вдруг мелькнул куполок часовни: простой, безо всякого золота, кажется, жестяной. Действительно, кладбище – но просто повернуть нельзя: мы проехали еще метров триста до виадукa, развернулись, съехали с шоссе на узкую грунтовую дорогу. Завиднелись ворота и небольшая сторожка; я спросил у бабушки:

– Оно?

– Нет, это Старое, – ответила бабушка. – Новое – дальше. Опять синий забор, опять ворота со сторожкой; пазик по-

вернул, из сторожки вышел охранник, что-то спросил у водителя, что-то проверил в списке, выуженном из нагрудного кармана. Наконец пазик въехал в ворота, встал у часовни. Ольга Павловна решительно объявила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.